

Александр Вергелис

ДАМА БУБЁН ВАРИЛА БУЛБОН

«Когда людям нечего сказать друг другу, они играют в карты», — слова эти, если не ошибаюсь, принадлежат Шопенгауэру.

Гению пессимизма, конечно, виднее. А у нас все было наоборот. В карты мы играли именно потому, что нам было что друг другу сказать. И не только друг другу, а и всему, что нас в те вечера окружало: бронзовой голове Мефистофеля, в которую мы стряхивали пепел, старым фотографиям на обоях и самим обоям — тоже старым, со стершимся рисунком, изначально изображавшим то ли львиные морды, то ли экзотические цветы. И — широким, как паруса, занавескам, и довоенной мебели, и скрипуну-паркету, и серому, лоснящемуся, то и дело осыпающему нас меловым снежком потолку. Слова, сплетаясь и расплетаясь, летели в этот терпеливый потолок вместе с облаками дыма, которого хватило бы на извержение Везувия. Нет, не мы играли в карты — демоны празднословия и зубоскальства играли и резвились в том сизом воздухе.

— А ты аза-артный, Парамоша! — добродушно злорадствует дядя Федор, наш гостеприимный хозяин и верховод, припечатывая заравшегося валета внезапным королем.

Покер, преферанс, ап-энд-даун, а иногда и просто подкидной дурак — все это только повод, чтобы вновь встретиться и заодно — пожонглировать словесами, поупражняться в доморощенном остроумии. Нет, конечно, еще чтобы чего-нибудь выпить. Но главным образом — потрепать языками. Для чего еще могли быть придуманы все эти игры? Неужели для того, чтобы просто — играть?

И главное не что говорить, а — как. За годы ежепятничных встреч как-то сам собой вылепился особый язык, выстроилась система фраз, возник длинный список паролей. Ничего общего с жаргоном профессиональных картежников — только наше, особое, лишь нам понятное.

— Надо бы подкормить рабочих. — Дядя Федор с демонстративной задумчивостью скребет золотистую щетину на подбородке. «Подкор-

мить рабочих» — это когда противник рискует перебрать карт, и ему суют, суют...

Фразу притащил я. Она — с плаката времен военного коммунизма, на котором бородач в лаптях и красной рубахе растерянно чешет затылок: «Чтобы вспахать землю, нужно иметь соху, а соху надо сделать, а я об этом забыл». Спустя почти столетие эта великолепная нелепица обрела второе рождение, завертевшись на наших языках.

— Ну, кто у нас в роли рабочих? — потирает ручки дядя Федор.

Неужели опять — я? Насупившись, сгребаю насованный мне балласт. Я вообще тот еще игрок. Другое дело — мой старший брат, для которого карты — религия, смысл жизни. В свое время эти расписные картонные прямоугольнички круто изменили его судьбу: подававший надежды студент-математик был отчислен из университета, загремел в армию, попал в компанию таких же забубенных, запикованных и затрефованных, в итоге посвятил себя спортивному бриджу и остался убежденным холостяком. Я не видел братца уже лет сто — общаться с профанами, вроде меня, ему недосуг — он без устали где-то «шпилит» с бриджистами-профессионалами, колесит по миру с турнира на турнир.

Картежная игра повлияла и на судьбу моего прадеда, который в годы уже упомянутого выше военного коммунизма из-за любви к преферансу чуть было не попал под революционную гильотину. Хмурые товарищи в кожанках нагрянули с обыском как раз в ту минуту, когда «бывшие люди» уселись под абажуром расписать пулюку. Хозяин квартиры оказался контрой, вместе с ним чекисты замели остальных. Тогда пращур легко отделался: отсидел несколько месяцев и был выпущен. Об участии остальных игроков история умалчивает.

Но нам от карт никакого вреда, одна сплошная польза, если не считать неизбежного ущерба здоровью: расходились только под утро, оставляя на полу шеренги пустых бутылок, а на столе утыканную окурками и напоминавшую ежа голову Мефистофеля. Играли мы обыкновенно по пятницам, а субботними утрами, проспав всего-то часа два, я и Анатолий уже встречались в маленьком спортзале на Васильевском — боксировали, если это слово сколько-нибудь уместно применительно к нашему топтанию на ринге. Тренер морщился, глядя на то, как еле живые, мы совали друг дружке в физиономии вялые хуки и джебы. Медленно приплясывающий Анатолий со своими выпученными невыспанными глазами казался мне джокером, со всех

сторон нас теснили бодрые пары атлетов-валетов, в глазах, как мухи, мелькали алые сердечки и ромбики, траурные крестики и остролистники, а в черепной коробке крутилось вчерашнее:

*Дама бубён варила бульон
И жарила десять котлет...*

— По печени его! — орал тренер, а внутренний голос невозмутимо продолжал:

*Десятка бубён украла бульон,
Котлеты украл валет...*

Но вот и новая пятница, бутылки откупорены, Мефистофель лукаво щурится сквозь дым.

— И снова встреча старых друзей, — потирает пухлые руки Анатолий.

Дядя Федор тасует колоду каким-то мудреным, только ему одному присущим способом, в конце протягивает мне: «снять». Указательным пальцем сдвигаю часть колоды — настолько нетерпеливо, что карты приходится собирать по полу. Все хватаются за головы, охают, с преувеличенным ужасом восклицают:

— Тайный ход карт нарушен!

Это дежурная издевка дилетантов над профессионалами, выпад профанов против карточных жрецов со всеми их священными ритуалами. Но главные объекты насмешек — мы сами. Когда колода собрана и вновь перемешана, следует вопрос:

— Кто у нас «товарищ Маузер»? Чье первое слово?

Что? Ах, мое? Ах, я? Извольте... Одну минуточку... Сейчас, сейчас... Я пытаюсь думать.

— Дядя Саша, не томи... — не выдерживает Анатолий.

Пауза затягивается, и дядя Федор, конечно, не оставляет это без комментария.

— Завклубом призадумалась... — И еще немного подождав — как всегда, медленно и отчетливо, почти по слогам: — В о-жи-да-ни-и Го-до...

Опять я роли Годо... Дайте же мне подумать, сволочи!

— Тысяча извинений, мадам, тысяча извинений...

Ладно. Пожалуйста, вот. Девятка треф.

— На совок и в печь! — радуется дядя Федор и кроет мою карту.
Я огрызаюсь козырем.

— Не поможет лавандоса котлета! — парирует он.

Ну, а я вот так!

— Напрасные слова! Виньетка ложной сути!

Хорошо. Что ты на это скажешь?

— Безумный гений у рычагов неуправляемой машины! — Оценка моих умственных способностей исчерпывающая.

Я пытаюсь выстраивать хитроумные комбинации и — слышу приговор:

— Сумбур вместо музыки!

Наконец, я хожу наугад — как Бог на душу положит. В результате вижу подъятую длань с нацеленным в потолок перстом и слышу сентенцию, произносимую с фальшивым грузинским акцентом:

— Нэлэпое рэшэние Лиги Наций вызывает ироническую улыбку и способно лишь оскандалить нэзадачливых авторов.

Ладно, ладно, теперь давайте в покер. В покере главное — блеф. Блефовать — это мое. Но дяде Федору так не кажется.

— Балетная фальшь! Артист погорелого театра! — веселится он. И, загребая копеечный банк, торжественно: — Наш спонсор — Криворожсталь!

Криворожсталь — это я. А дядя Федор — это дядя Федор. Большой оригинал. Редкостный чудак, обладающий удивительной способностью заражать своей чудаковатостью окружающих. Сам не замечаешь, как перенимаешь его фирменные ужимки, срисовываешь все эти полудетские неуклюжие жесты, подхватываешь словечки и фразочки — мешанину из полузабытых цитат и газетных заголовков, компот из трюизмов, салат из вывернутых наизнанку банальностей. А главное — интонации, с которыми он эти фразочки произносит. Самые цельные, самые твердокаменные личности не выдерживают, дают слабину, теряют изначальную форму, перевоплощаясь прямо на глазах. Чего уж говорить обо мне! К чему дядя Федор ни прикоснется, все становится им — дядей Федором. Кажется, что и стул — дядя Федор, и стол — дядя Федор, и колода карт в его руках — тоже он. Он — чародей, заставляющий других превращаться — в себя. И вот ты — уже не ты, и вот уже мычишь, тянешь слово, по-особому морщишься, чешешь темя и, главное, начинаешь думать, почти как он — хотя, конечно, думать, как он, не дано никому. Дядю Федора невозможно просчитать. Он склеен из

парадоксов. Жизнь для него — пиршество абсурда. При этом трудно найти человека с более светлой головой. Этой своей светлоголовости дядя Федор как будто стесняется, он выдавливает ее из себя по капле, пуская в ход алкоголь, коноплю и сушеные поганки. Однажды, напившись мутного грибного настоя, он простоял весь вечер на одной ноге лицом к стене, ничего при этом не говоря, если не считать изредка издаваемого восхищенного мычания: «Ууу... красота...» Что он там видел — на старых засаленных обоях? Какими красотою любовался? Он так и заснул — на одной ноге, как какой-нибудь аист, и был уложен на диван, и все чему-то улыбался во сне.

Знакомство с долговязым, долгоруким и нескладным дядей Федором состоялось гораздо раньше нашей первой с ним встречи. Он, еще мною не виданный, разговаривал со мной — чужими пухлыми устами, пожимал мне руку — чужой пухлой рукой, задолго до того, как наши жизненные траектории пересеклись и переплелись. Он просвечивал сквозь тучную плоть Анатоля, моего однокурсника, с которым мы как-то сразу сдружились на почве любви к искусству и крепким напиткам. Странноватые Анатолевы манеры, его привычка неожиданно растягивать слова — поначалу я принимал все это за его собственную, исконно Анатолеву оригинальность, но когда он познакомил меня со своим бывшим одноклассником («Знакомьтесь: дядя Федор!»), мне вдруг открылось: Анатолий — человек-гибрид, продукт смешения, два в одном! Впрочем, это простительно: ведь у Анатоля — тяжелая форма облучения, он с дядей Федором десять лет просидел в одном классе. Мне же хватало и небольшой дозы. Сам дядя Федор, выслушивая очередной упрек в чрезмерном влиянии на неокрепшие умы, по сему поводу всегда недоумевал: «Не понимаю, чего это вы все... Я — что? Я ничего не делаю. Вы сами, сами!» Да, это мы сами! Мы сами хотели — не просто подражать, но подключаться к его реальности — яркой, нелепой, ни на что не похожей.

Менее всего подвержен был этому Савка, но и он то и дело сбивался на дядифедоровы длинноты, подхватывал его «фишки». Савка, мой сосед по раю, мой дачный друг детства, прилетел из Пенсильвании — насовсем. Пожив за океаном, отучившись в американской школе, закончив тамошний колледж, затосковал по родным осинам и приехал сюда — «на пэ-эм-же». Там, в Америке остались родители, когда-то ребенком забравшие его с собой — из отбывавшего в небытие Советского Союза. Мы не виделись десять лет. Десять лет от него при-

ходили аккуратные письма в заграничных конвертах. А однажды он позвонил, удивив меня сильным акцентом и употреблением одного хорошо забытого слова. «Я хочу вернуться в Россию», — прозвучало это, как в кино про белоэмигрантов. Полузабытое сочетание звуков «Рос-си-я» тогда еще отдавало благородной ветхостью, как слово «приват-доцент», как обращение «Ваше превосходительство».

Мне не очень-то верилось, что он вернется в бывший Ленинград, но он приехал и стал жить — кстати, довольно весело. Особенно весело стало после того, как я, распрощавшись с лейтенантскими погонями, познакомил его с Анатодем и дядей Федором. Образовалась теплая компания двадцативосьмилетних прожигателей жизни. Время от времени мы посещали художественные выставки и публичные лекции по литературе, но, главным образом, ходили по питейным заведениям — можно сказать, кутили, даже — гусарствовали. Но какое гусарство без карт! Рано или поздно они должны были появиться.

Началось все под старый Новый год, в заветной Японской комнате. Не помню, какими судьбами очутились мы в этой набитой книгами бывшей девичьей Дарьи Александровны — дядифедоровой матушки. Дарья Александровна в прошлой жизни была японисткой, поэтому все книги в этой узкой комнатке — на японском. А если попадают на русском — то непременно про Японию. «Япона мать», — ласково называет родительницу дядя Федор.

Так как все-таки мы там оказались? Да никак — шли мимо и зашли. И вот, сидим, томимся. За занавеской — электрические сумерки январского вечера. С книжных полок корчат рожи самурайские маски, на стенах цветут сакурами и гейшами старинные гравюры. Мы вяло треплемся. Чего-то не хватает. Но чего? Дядя Федор исчезает и возвращается — с колодой карт и случайно обнаруженной бутылкой шампанского.

— Карты? Ты что, и-и-играешь в карты? — Это не я говорю, это моим зевающим ртом генерал Чарнота — он же артист Ульянов без брюк, в кальсонах, со своими седыми усами похожий на старого кота, — с трепетом вопрошает негодяя Парамона Ильича Корзухина, того самого Парамошу азартного, которого мы столь часто будем поминать в дальнейшем. Кстати, вот в какой фильм уводила эта Савкина фраза про возвращение в Россию! Сумрачный генерал Хлудов на турецком берегу — вешатель с ноющей душой, готовый стать к расстрельной стенке, только бы к родной стенке, к русской.

С того вечера — понеслось. С того вечера жили — от пятницы до пятницы.

Японская комната маленькая, тут нам тесновато. Вскоре перебираемся в просторную, как спортзал, бывшую гостиную. В этой огромной шести-, а по гамбургскому счету — семикомнатной (если учитывать просторную кладовку без окон) квартире дядя Федор вырос. Такие квартиры доставались разнообразным видным деятелям — например, крупным ученым, каковым и был его пращур. Роскошная в прошлом квартира, барская. А тогда, в нашу картежную бытность, обиталище теней, хранилище вековой пыли. У входной двери бронзовый звонок чинно обращается к нам, вечерним пришельцам: «Прошу крутить». Мы всю терзаем винт, вызывая в глубине квартиры глухой звон, торопливые тапочные шарканья и звяк дверной цепочки. За дверью обнаруживается чеширская улыбочка дяди Федора, со своей рыжеватой бородкой похожего на Ларса фон Триера. Хохоток, рукопожатия, шуточки-прибауточки. В прихожей нас ждет старинное зеркало в облезлой раме, в туалете — допотопный деревянный стульчак (тяжеленный, таким можно убить слона) и антикварная латунная цепочка на сливном бачке. Не хватает только таблички: «Прошу тянуть».

Квартира почти необитаема. Где-то здесь существует Бабушка, она иногда появляется в коридоре или на кухне — вся белая, согбенно-величавая, в короне серебряных кудрей. Неизвестно, существуем ли в ее вселенной мы — Бабушка почти глуха и еле видит. Мы живем в параллельных реальностях: Бабушка не догадывается, какие страсти кипят здесь, за карточным столом.

— Кто ходит? — интересуюсь я.

— Зинаида Геркулановна Ворс! — объявляет дядя Федор, кладя на стол бубновую даму.

— Ага! Дама бубён варила бульон! — парирует Савка.

— И жарила десять котлет... — поддерживаю я.

— Познакомьтесь: Мелисса Андреевна Покобатько! — швыряет козырную трефовую даму Анатолий.

— Гора родила мышь! — ликует дядя Федор, двумя пальцами, как щипцами, извлекает из карточного веера короля.

Но в этот раз фортуна не на его стороне.

— Добро пожаловать на остров Тузла! — предъявляет туза Савка.

— Коля-аска! — негодует дядя Федор, бросая карты.

Это слово у него — ругательное. Из всех ругательных — самое-самое.

Почему, собственно, коляска? Я пойму потом, когда вдруг разговоришься о детстве, отрочестве и так далее.

— Ребенок в неполной семье — все равно, что в инвалидной коляске, — скажет он.

Сам дядя Федор — как раз из неполной. И Анатолий, кстати, тоже.

Детские обиды — вот из чего мы сделаны. «Я не люблю бабушку. Бабушка — эгоистка. Жила только для себя», — дядя Федор поражает своей прямоотой, он всегда говорит то, что думает. Но ведь при этом — заботливый внук, можно сказать — образцовый. И тем не менее, спокойным, обыденным тоном продолжает: «Когда бабушка умрет, эта квартира достанется мне. Придется продать и купить жилье дочерям». Дочерей у дяди Федора три — как у короля Лира. Нет, нет, дядя Федор не желает смерти Бабушке! Просто говорит, как есть. Ведь когда-нибудь она умрет — от старости.

Я тайно молюсь о здоровье и долголетию Бабушки. О, Бабушка, будь ты хоть трижды эгоистка, не умирай, живи вечно! Пусть все это не кончается! Пусть скалится со стола бронзовый Мефистофель, пусть всегда играет нам эта древняя, чудом работающая радиола, крутятся найденные в шкафу пластинки с послевоенной японской эстрадой. А есть еще вот эта, американская, с развеселым припевом: «How do you do, mister Brown!» Под эти звуки шлепаются о стол карты, пустеют бутылки, не закрываются рты.

— Кто атакует?

— Жербунов и Барболин!

— Сакко и Ванцетти!

— Ортега-и-Гассет!

— Бутрос Бутрос Гали!

— Атакует дядя Стракош!

— Ммм...Пожалуй, еще Глинка!

— А ты, Парамоша, азартный! Вот что тебя губит.

— Жихарка атакует!

— Это что за тактика такая?

— Тактика волка!

— Тактика Нины Усатовой!

— Парамоша, не спи!

— Тысяча извинений, мадам...

— Не будем ждать милостей от природы...

— Кто ходит?

- Уробороз!
- Кто играет шесть бубен, тот бывает...
- Где?..
- В темных и вонючих тупиках бесплатной параша кинотеатра «Октябрьский».
- А что вы на это скажете?
- Ко-ля-ска...
- А на это?
- Грошовый счет в казенном конверте!
- А мы вас — так!
- На совок и в печь!
- How do you do, mister Brown!

Так и льется, льется из дырявых ртов словесная мешанина, так и сыплются вороха цитат, вырванных с мясом из фильмов и книг, из любимого дядифедорова «рэпчаги». И тут — Анатолий, торжественно предъявляя козырного туза:

— Телекомпания «Шаробан» представляет!

Я вздрагиваю. Наступает момент просветления... Шаробан? Позвольте, позвольте! Шаробан! Как же, как же, была такая телеигра для недобитых комнатных интеллектуалов. Блестит фольга, мигают разноцветные лампочки, бодрый седой ведущий ликующе объявляет: «Наши спонсоры!» Оглашается длинный список новорожденных банков и только что вылупившихся фирм с экзотическими названиями. «Спонсоры» — главное в то время слово! Без них не было бы призов, выложенных на столике: двух бутылок «Советского шампанского», пары белоснежных кроссовок, какой-то импортной мелочевки. И главный приз — триста долларов США! Бурные аплодисменты. Итак, мы начинаем! В руке ведущего — восьмидюймовая, с книгу величиной дискета. На ней — вопросы для викторины. Дискету церемониально вставляют в компьютер — о, вот еще одно слово, без которого в новые времена никак! Таков ритуал. В руке взлохмаченного бородача, капитана команды всезнаек, — деревянный совок с бильярдными шарами. Шары катятся в лузы...

«Шаробан» — вот ключ ко всегда терзавшей меня загадке: где я мог видеть эту физиономию раньше, до нашего университетского знакомства. В телевизоре — вот где! Вот где впервые явилась мне эта круглая, крупной лепки — римская, не побоюсь этого слова, — голова! Так же, как дядю Федора я впервые увидел в Анатоле, так Анатоля первый раз — на

экране цветного «Рекорда», в той самой телеигре с дурацким названием. Я был еще школяром, мы сидели перед телевизором с братом-студентом (тем самым, картами впоследствии погубленным). Игроки не смогли дать правильный ответ — вопрос переходит в зрительский зал. Некто в небесного цвета джинсовом костюме поднимает руку, бурчит что-то в подставленный микрофон. Верно! Правильно! Как Ваше имя? Браво, Анатолий! Зрителю за правильный ответ полагается награда — право подойти к «батискафу» и попытаться металлической клешней выловить свернутую в трубочку двадцатипятирублевку — еще советскую, с профилем Ленина. И вот он спускается с верхнего ряда — круглый, надменный, в голубом своем джинсовом костюмчике и белых кроссовках. Неторопливо, с ленцой, разболтанно — теперь-то я знаю, что за всем этим стоит с трудом подавляемое смущение, — подходит к стеклянному ящику с сокровищами. Мы с братом злорадно гогочем: ну, давай, давай, жиртрест, ну что же ты! Не промахнись, эрудит криворукий! Он все-таки что-то сумел зацепить, но по пути роботическая пятерня заветный приз выронила. С чисто дяdifедоровой (я потом это пойму) ужимкой («Дерьмо этот ваш батискаф!») возвращается на место.

Этот эпизод во всех его подробностях я, сам того не зная, годами держал в самых темных подвалах памяти и мгновенно вытащил его на свет — в тот момент, когда Анатолий произнес заветное слово «Шаробан». Круг замкнулся, пазл сложился. Да, да, подтверждает Анатолий, было дело, по родственному радению попал в ту студию, в ту программу с дурацким названием и благообразным ведущим. Как бишь его?

— Борис Гершт! — Анатолий кладет на стол седовласого короля.

А по эту сторону телеэкрана Анатолий впервые предстал передо мной посреди свекольного поля, в резиновых сапогах и ветровке, восседающим на овощном ящике с журналом-толстяком в одной руке и дымящейся беломориной — на отлете — в другой. Я подошел стрельнуть папироску. Протянул, не поднимая глаз, не отрываясь от чтения. В этой отрешенности от мирской суеты — весь Анатолий. Он и ящики со свеклой таскал, продолжая читать — одной рукой держит ящик, другой журнал, успевая при этом беседовать с напарником, таким же доморощенным интеллектуалом:

— Да, да, «Апокалипсис» — пожалуй, самая сложная книга Нового завета...

Анатоль поглощает книги килограммами. За ночь переваривает увесистый бумажный кирпич. Последнее школьное лето он провел в «лесной сторожке», фактически оказавшейся филиалом Публичной библиотеки — сказочная избушка была набита редкими изданиями и снабжена каталогом. Подозреваю, что «сторожка» была профессорской дачей — Анатолева энергичная матушка вращалась в академической среде. Не она ли заперла сына в той избе-читальне, чтобы затем отправить его в телевизор? Нет, такого, как Анатоль, не запрешь, а добровольно провести все лето в четырех стенах за книгами — это в его духе. Как бы то ни было, отношения матери и сына, насколько я могу судить, были отнюдь не безоблачны. Бунтом против властной родительницы можно объяснить частые Анатолевы взбрыкивания, загулы и щедро раздаваемые пощечины общественному вкусу — даже его бесконечные разводы, возможно, были отголоском той мучительной борьбы за свободу и независимость, которая сделала его тем, кем он предстал передо мной среди совхозной свеклы верхом на ящике.

По благу или нет оказался этот начитанный юноша в «Шаробане», но вопросы там предлагались серьезные. Впрочем, сколько-нибудь серьезного отношения этот причудливый плод нашего провинциального телевидения у Анатоля не вызывал — он вообще мало к чему относился всерьез. Вернее, лишь несерьезное могло вызвать у него серьезное отношение. И все-таки «Шаробан» оставил свой след в его душе. Имя ведущего и спустя полтора десятилетия поминается им едва ли не с любовью:

— Атакует Борис Гершт!

У них с дядей Федором есть свои любимчики — вечные мишени для весьма специфических, только им одним понятных острот — и не острот вовсе, а сплошного дуракаваляния. В числе фаворитов — Кама Гинкас, Бодуэн де Куртенэ, артист Николай Чиндяйкин и еще великое множество персон, попавших в этот список главным образом благодаря звучанию своих имен, одно произнесение которых доставляет моим друзьям какое-то иррациональное удовольствие.

— Атакует Михаил Глузский, — с наслаждением возвещает дядя Федор, растягивая гласные и с особой тщательностью выдавливая между зубов сгусток согласных.

В этой неудобопроизносимой тройчатке звуков «з-с-к» заключена душа священного для дяди Федора имени. Михаил Глузский по его уверениям — не просто актер театра и кино, а — «серый кардинал»,

могущественная фигура, владеющая тайнами мироздания, повелевающая судьбами человечества. Дома у дяди Федора висит его портрет.

Вся эта клоунада, все это нескончаемое идиотничанье выплескивается на улицы города. Со страстью необыкновенной они с Анатолом соревнуются в публичном юродстве, эпатируя обывателей и вовлекая в свои игры меня, тоже не чуждого безобидных дурачеств.

И вот мы уже просим милостыню в подземном переходе на Сенной, поспорив, кто больше соберет. Я делаю успехи, у меня явный талант к нищенству. Анатолю же не везет. Он неважный актер и все время переигрывает — становится на колени, бьет поклоны, истово трясет головой, при этом не будучи в силах совладать с лицевыми мышцами и бантиком пухлых губ, то и дело растягивающихся в гаденькой улыбочке. Впрочем, соревнование наше длится недолго. Довольно скоро нас атакуют конкуренты — чудом исцелившиеся профессиональные калеки обступают нас, потрясая костылями и грозя появлением «крыши». Мы бесславно ретируемся.

Вот Анатолий изображает уличного художника-неформала, нацепив на рано лысеющую голову фиолетовый бабушкин берет, завернувшись в клетчатое одеяло и выставив на продажу свои «работы» — вымазанные зеленкой куски картона с приклеенными обрывками обоев, вырезками из газет, пучками волос. Несмотря на заломленные цены, кое-что из его опусов уходит в частные коллекции, а мы идем пить за искусство в ближайшую рюмочную.

Вот мы устраиваем публичный сеанс литературной магии, пытаясь оживить памятник Пушкину на площади Искусств — для этого призываем равнодушных прохожих взяться за руки и, водя хоровод вокруг постамента, хором продекламировать «Памятник». После третьего круга Анатолий истово орет:

— Смотрите! Смотрите! Он пошевелился! Быстрее, быстрее! Громче!

Мы — я, Анатолий, какие-то прогуливающие уроки школяры, несколько разбитных девиц, запьянцовского вида мужичок, троица не понимающих по-русски иностранцев, две озорные пенсионерки — с утроенным усердием продолжаем хороводить вокруг бронзового гения. Кружение наше все ускоряется и ускоряется, оно уже напоминает зикр, а пушкинские стихи — скороговорку, заговор, шаманское бормотание:

— Нет, весь я не умру... Душа в заветной лире...

Голуби, безмятежно отдохнувшие на голове и плечах поэта, испуганно прыскают в небо. Вокруг собирается народ, нас фотографируют, и кто-то из зевак истошно кричит:

— А ведь он шевелится!

От беганья по кругу у меня начинает кружиться голова. И вот уже мне самому кажется, что изваяние, подобно каменному гостю, наклоняется, кивает нам кудреватой головой.

Пушкин в Анатолевой картине мира — фигура, как говорится, ключевая, вернее, не сам Александр Сергеевич, а его посмертная тень, фантом, позолоченный идол, на глазах превращающийся в карикатуру. Анатолий посвящает себя в жрецы этого культа. В один прекрасный день он наклеивает на свои румяные щеки огромные, как облака, бакенбарды из выдранного откуда-то меха, нацепляет картонный, крашенный черной гуашью цилиндр и нечто вроде крылатки, берет палку и отправляется гулять в Летний сад. Я составляю ему компанию.

Мы вообще любим шляться по улицам. В этом бесцельном шатании есть свой великий смысл — с нами город, постоянно подбрасывающий что-нибудь интересное. И вот Пушкинская, 10 — место, как говорится, культовое. В большом заброшенном дворе возле одного из подъездов в молчаливом ожидании скромно мнется десятка два человек. Люди все с виду интеллигентные. Мы дрейфуем в их сторону, спинным мозгом понимая, что вопросов задавать не надо и вообще лучше пока помолчать. Все стоят и молчат. Мы тоже стоим и молчим. Проходит минут пять, дверь открывается. Вместе со всеми по узкой полутемной лестнице поднимаемся на второй этаж. Ни слова — только тихое эхо шагов по старинным щербатым ступеням. Заходим в странную сумрачную квартиру, скорее похожую на сон, чем на земное обиталище человека: запеленатое в какие-то свисающие отовсюду полупрозрачные занавеси, пространство здесь кажется фикцией — равно как и время. Пустоглазые беспольные маски пристально разглядывают нас с низкого потолка, отчего мне становится немного не по себе. Посреди комнаты — изобильно накрытый стол, при виде которого мы с Анатолем удовлетворенно переглядываемся. Никто не спрашивает нас, кто мы и откуда, — нас принимают за своих, за посвященных. И вот начинается: в давящей глубоководной тишине звучат чьи-то тихие слова. Так, наверное, звучали молитвы катакомбных христиан. Так куда мы все-таки попали? На сходку сектантов? На тайное богослужение? Вот кто-то читает стихи — верлибр про человека, из головы

которого росло дерево. Потом включают музыку — да музыку ли? Странные, тянущиеся звуки, которые, впрочем, вполне органично сочетаются с обстановкой квартиры. Вот «музыка» смолкла, и тишина снова давит на барабанные перепонки. Какая-то женщина слабым голосом просит повторить, и эти обморочные звуки льются опять, окончательно отрешая нас от реальности, оставленной за порогом. И тут до нас доходит, что попали мы на поминки. И поминают тут не простого смертного, а почти гения — режиссера, художника, писателя, теоретика. Из скорбных речей мы узнаем, что покойный был гоним властями, в юности лишился обеих ног, но свободу и волю к творчеству сохранил, работал, создал свой театр, вырастил учеников. Всю жизнь — в полуподполье, сторонясь компромиссов. А умер на сцене, во время репетиции. Хорошая смерть, думаю я, а между тем гостей приглашают к столу — помянуть. Я в легкой растерянности, я еще не привык к фуршетам, но ушлый Анатолий быстро сворачивает бутылочную головку, наполняет пластиковые стаканчики лимонной водкой, и мы пьем, не чокаясь — за матерого человечушу, о котором к стыду своему ничего до сего вечера не знали. Вот он, мощный зевсоподобный бородач, глядит на нас с фотографии, будто спрашивает: «А вы-то как проживете свои жизни?» Под этим взглядом становится стыдно быть никем и вот так, незаслуженно хлестать водку. Не потому ли я поторопился уйти, бросив друга на эту амбразуру? Или куда-то мне надо было бежать? Анатолий остался всерьез и надолго — насосался лимонной водки, разговорился по душам с какой-то женщиной из свиты покойного, а проснулся утром на подоконнике, когда никого вокруг уже не было. Только маски смотрели с потолка.

Измученный, постаревший, нищий город щедро одаривает нас, давая именно то, что мы, сами того подчас не зная, ищем. Более всего Анатолия радуют «олдскульные места» — чудом сохранившиеся пятна схлынувшей советской действительности — разнообразные рюмочные, пышечные, пельменные, коммунальные кухни, заводские проходные, редакции чудом уцелевших журналов, да и просто застрявшие в восьмидесятых скверы, двory, разящие мочой парадные. Уходящая натура глубоко волнует Анатолия. Он носится с идеей издать альбом фотографий и «физиологических очерков» и назвать его, к примеру, «Петербург снимает фрак». Анатолий коллекционирует «народные типажи» — фотографирует бабок с сумками-тележками, городских сумасшедших, колоритных пьянчуг, бомжей. «Народный» у него —

любимое слово. Синоним этому слову — «суровый». Разливая в какой-нибудь забегаловке дешевый портвейн по еще не исчезнувшим из реальности граненым стаканам, он не раз с удовольствием скажет:

— Давай по-нашему, по-народному!

Иногда к нам подсаживаются разнообразные потрепанные жизнью субъекты, стреляют покурить, рассказывают трагические истории. Таких Анатолий именуется «народниками».

— Ну ты народник! — кричит он мне, входящему в раж от выпитого и начинающему брататься с очередной щетинистой личностью.

А ведь поначалу Анатолия заносило в совсем другие дали. На заре туманной юности его будоражила область непознанного. Гулявшие в то время по России вольные ветры вдували в голову студента пединститута пряный дым из кумирен, где кадили фимиам сверхъестественному. Он с азартом скупал появившийся на книжных полках эзотерический мусор. Его волновали стыдные для приличного человека гипотезы вроде той, согласно которой египетские пирамиды построили инопланетяне. Его интересовали экспедиции искателей Атлантиды, походы по следам снежного человека. Он без конца читал и перечитывал Кастанеду и Грофа, не гнушался и Блаватской. Вечерами он звонил мне по телефону, и мы до утра трепались о параллельных мирах, астральных двойниках, психоделических практиках и всякого рода сомнительных околонучных идеях, по части которых он был академиком. Я осторожно спорил — с марксистских позиций, ибо ничего другого тогда не знал...

Но не этим Анатолий изменил мою жизнь. Главное — он научил меня знакомиться с девушками. Именно научил — как учитель учит ученика. К делу он подходил основательно, после экскурсии в женскую психологию и подробного инструктажа начинались практические занятия — на Невском проспекте, в Летнем саду, на Дворцовой площади, в трамваях и троллейбусах, в поездах метро мы «разводили клей», нарочно нацеливаясь на самых неприступных с виду девиц. «Если тебя грубо отошьют — это, конечно, неприятно. Но гораздо хуже ничего не предпринять и потом кусать локти», — с долей высокомерия поучал многоопытный Анатолий, локти которого, судя по всему, в свое время были обглоданы до костей. Мучительное поначалу занятие постепенно превратилось в нечто вроде приятного хобби, сам процесс доставлял удовольствие вне зависимости от результата. На радость моему учителю я делал успехи, понемногу избавляясь от болезненной

застенчивости. И уже скоро стал выходить на охоту самостоятельно. Вернее, охотился мимоходом, например, по дороге с работы домой.

И все-таки в паре с Анатолом «работалось» куда веселее. Позднее, уже после моего дембеля, в нашу артель с азартом влился вернувшийся из своей Пенсильвании Савка. Многолетний дядя Федор на все эти штудии смотрел отстраненно — жене он не изменял из принципа. Мы же были свободны — Анатолий успел развестись, мы с Савкой о женитьбе не помышляли.

Савка имел обыкновение завязывать знакомства в барах, ночных клубах и прочих увеселительных заведениях, из всех лекарств от застенчивости предпочитая алкоголь. Однажды томным июньским вечером на Караванной мы подсели за столик к двум хохотушкам — беленькой и черненькой. Девчонки оказались менеджерами московской книготорговой компании, командированными в нашу провинциальную глушь на книжный салон. Барышни скучали и к ухаживаниям двух аборигенов отнеслись благосклонно. Фирма снимала для своих сотрудниц просторную квартиру на Невском, где вскоре и продолжилось наше взаимоприятное знакомство, положившее начало многолетней дружбе — не подберу другого слова для определения того, что между нами все эти годы происходило. Наши милые москвички приезжали в Петербург каждое лето. Примерно неделя в году проходила в режиме оголтелого эпикурейства. Менялись адреса — неизменным оставался дух веселой безответственности, с которой мы вчетвером обедались молодостью. Постепенно состав московской делегации полностью поменялся: сначала произошла одна замена, потом другая — словно небесные распорядители земных удовольствий заботились о ротации кадров. Сочетание мастей при этом сохранялось: как будто учитывая наши цветовые пристрастия, к нам неизменно отправляли блондинку и брюнетку. Новый состав по части гедонизма своим предшественникам не уступал. Мы с удвоенными силами предавались увеселениям, а провозжая своих дам на вокзал, слали приветы и поцелуи коллегам из первой смены.

Мои регулярные отчеты о достигнутых успехах вызывали сдержанное одобрение Анатоля и неизменный призыв «усилить работу».

Что касается работы в прямом смысле слова — в смысле добывания денег, то и тут мы с ним шли рука об руку — во всяком случае, пока были студентами. Наши трудовые пути то и дело пересекались: Анатолий подкидывал мне то одну, то другую подработку, не только

спасавшую меня от безденежья, но и в чем-то менявшую мою жизнь. Уволившись из школы на Васильевском острове, где он вел старшие классы и закрутил преступный роман с ученицей, мой друг передал педагогическую эстафету мне. В наследство я получил три класса половозрелых мерзавцев — таковыми, во всяком случае, казались мне тогда вверенные моим заботам старшекласники. Мне предстояло вести у них историю и философию. Учителем я оказался бездарным. От железной дисциплины, введенной Анатодем, вскоре не осталось и воспоминания — ответом на мой гнилой либерализм стала самая гнусная анархия, ликвидировать которую мне стоило неимоверных усилий. Постепенно закручивая гайки, я добросовестно довел своих подопечных до выпускных экзаменов (сданных, надо признать, неплохо), но искренне возненавидел школу и с чувством колоссального облегчения уволился.

А ведь когда-то, на первом курсе, мы всерьез готовились идти в народ — грезили о сельской школе в какой-нибудь богоносной глубинке... Педагогика не стала нашим призванием. Позднее Анатодем раздобудет диплом юриста и сделается адвокатом с солидной практикой, я — средней руки репортером. Но тогда, по окончании института, мы оказались на распутье. Впереди было лето. Нужны были деньги. Начались бдения над объявлениями. Мы запаслись кипой газет «Из рук в руки» и отправились на Смоленское кладбище. Там, сидя на краю какой-то могилы под сенью благоухающей сирени, из которой лилось жизнерадостное щебетание кладбищенских птиц, тянули дешевое вино и изучали предложения рынка труда. Работа по специальности отметалась сразу. Двух свежедиplomированных гуманитариев всерьез интересовали рабочие вакансии. Я почему-то вознамерился стать стропальщиком, хотя и не знал, что это такое. Анатодем агитировал идти учиться на плотника или каменщика.

Каменщиками — вольными или невольными — нам сделаться не довелось, но разнорабочими или, как говорили раньше, чернорабочими мы вскоре стали. Среди многочисленных Анатодевых знакомцев был некто Андрей, кормившийся ремонтом квартир. Вскоре мы оказались в разгромленной двухкомнатной «сталинке». В мои обязанности входило то, что называлось «фенить», — при помощи специального фена или паяльной лампы счищать старую краску с оконных рам, дверей и дверных косяков. Плевавшейся огнем паяльной лампы я боялся, предпочитая пользоваться феном. Сноровки не хватало, вместо краски

я сгоряча то и дело снимал стружку, а порой и отщеплял целые куски дерева. В результате долгой кропотливой работы я испортил почти все оконные рамы и дверные косяки. Мой напарник меж тем увлеченно работал шпателем, скреб и мазал стены — тоже без особого успеха.

Удивительно, что нам за это платили. Поденную плату мы получали из рук того самого Андрея, нашего бригадира. Бывший военный, молодежавший красавец, добряк и мастер на все руки, имел единственный, но сокрушительный недостаток — он был запойный. Андрей долго крепился, стойчески отказываясь участвовать в наших ежедневных дегустациях, но стоило ему дрогнуть и пригубить, как он пропадал на неделю или на две — пока не пропивался вчистую. Надо отдать ему должное — перед исчезновением Андрей всегда оставлял нам некоторое количество рублей, чтобы «ремонт» не останавливался. Из запоя он выходил тихим и каким-то просветленным, сразу погружался в работу, будто стараясь искупить тяжкий грех.

Денег нам хватало на батон, кусок ядовито-розовой колбасы без признаков мяса и бутылку портвейна «Анапа». Утомленные трудами и неизменной «Анапой», а также принимая во внимание то обстоятельство, что средств на проезд не оставалось, мы устраивались ночевать прямо на рабочем месте — среди хаоса и пыли. Анатолий спал в коридоре — на Монблане, образованном из строительного мусора, прикрытого сверху досками и кусками линолеума. Он не без труда взбирался на вершину этой горы, где укладывал свое грузное тело. Поскольку ложе его представляло собой наклонную плоскость, через некоторое время он оползнем съезжал вниз, не переставая при этом храпеть. Мой сон был более чуток. Я пытался спать в ванной комнате и чтобы не лежать на холодном кафеле, подкладывал под себя сложенные башенками дощечки, плитки, кирпичи. Требовалось несколько точек опоры — под голову, плечи, зад, ноги. Так и спал, почти висая в воздухе — никакому йогу не снилось.

За неделю такой жизни мы основательно запаршивели. Но Анатолий не унывал и призывал опрощаться. Под куском полиэтилена в углу обнаружился пыльный магнитофон и грудa старых кассет. Мы трудились под «народные» песни, и я уже чувствовал себя настоящим работягой. Потом Анатолий раздобыл музыку поновее. Хлебнув «Анапы», мы дружно подпевали хрипевшему магнитофону:

Буфетчица Ася, школьная подруга моя!

В конце концов, нас оттуда выпнули — после того, как Андрей ушел в очередной запой, на объект нагрянул со своими присными прораб, о существовании которого мы с Анатолем даже не подозревали. Этот сердитый маленький бульдог тут же обвинил нас в спаивании бригадира и низкой результативности труда. Я не очень расстроился — тем более что доля правды в его словах была.

— Могли бы и отметить — например, за испорченные окна, — говорю я Анатолю спустя десятилетие.

Нашпигованный окурками бронзовый Мефистофель лукаво щурится, будто хочет сказать: «Еще как могли бы!»

— Могли бы, могли бы... — равнодушно соглашается Анатолий, глядя на карты и в задумчивости поправляя во рту свой вечно выпадающий зуб.

Анатолий физической расправы не боится. Бит он бывал многократно — ревнивыми мужьями, идейными противниками, случайными собутыльниками. Будучи адвокатом, он много колесит по стране, бывает в разных городах, где по извечной тяге к приключениям неизменно заглядывает в самые злачные места. Последний раз его «отмудохали» в Луге, на дискотеке — там он слишком рьяно добивался расположения местной красавицы. На берега Невы наш друг возвращается с неотразимой улыбкой. Позднее вместо выбитого резца появляется искусственный, выделяющийся своей белизной, но то ли халтурно сделанный, то ли повторно выбитый — во время особенно бурных речей фальшивый зуб вываливается у Анатолия изо рта. Привычным движением мой друг возвращает его на прежнее место и продолжает прерванный разговор.

Анатолий никогда не унывает — он полон оптимизма. Будучи женат в третий раз, он любит порассуждать о преимуществах семейной жизни, о радости отцовства:

— Я люблю детей. Хотя, в сущности, любить их не за что. И нужны они только для того, чтобы бегать мне за пивом.

Дядя Федор морщится: его девочки растут, старшая уже чуть ли не на выданье, а никто ему за пивом не бегают.

— А ты, Александр, когда займешься решением матримониального вопроса? — в тысячный раз интересуется он.

Чего греха таить, я с этим самым вопросом как-то затянул. Даже Савка почти уже отец семейства — его почти уже жена почти уже на третьем месяце. Но право, что за бестактные расспросы!

— Смотри, после тридцати пяти станет поздно, — страшает дядя Федор.

Я в корне не согласен. Мой дед женился почти в пятьдесят, и ничего.

— Тридцать пять — последний рубеж! — настаивает наш король Лир.

Поверю я в это или нет, но именно в тридцать пять и случится моя женитьба. Вечно я везде опаздываю, вечно прыгаю в последний вагон уходящего поезда! Впрочем, пока что я еще глубоко холостой, и вот мы снова играем в карты, балагурим и пьем. И снова нежно поют нам японцы-эстрадники, и где-то ходит-бродит по огромной квартире неумирающая, вечная Бабушка. И в который раз наступает холодное бледное утро, и мы идем по пустынным улицам — по Восстания, по Жуковского, по Литейному проспекту, тараща сонные глаза и раздирая в зевоте утомленные непрерывным говорением пасти. Но ничуть не завидуя тем, кто провел эту ночь под одеялом.

Однажды в квартире-лабиринте появится улыбчивая девушка. Знакомая знакомых, приглашенная пожить и заодно поухаживать за Бабушкой, она мелькнет в дверном проеме, проходя мимо нашего вертепа, полного дыма и гогота, и я успею заметить маленькую чернильную родинку над припухлой губой, и мысленно выпью за эту родинку, а заодно за смуглые плечи и слегка раскосые глаза, в которых тоже, как показалось мне, блестели азарт и любопытство. С того дня я буду появляться в этом доме не только по пятницам. Никто не узнает об этом — ни дядя Федор, ни тем более Бабушка. Как тать ночной, буду красться я по темному коридору, мимо бабушкиной спальни — к заветной Японской комнате. Там, на узком ложе под рядами книжных корешков с иероглифами, под грозными взглядами самурайских масок будет затеваться совсем другая игра...

Помимо этой славной игры она увлекалась экзотической французской игрой под названием петанк и всегда носила с собой сумочку с тяжелыми металлическими шарами. Такими шарами можно отбиться от любого маньяка. Игра развивает точность глазомера и силу рук. Не помню глаз более зорких и объятий более крепких. Но и от этих глаз я бежал, и из этих объятий выскользнул — скорее по старой привычке, чем из стремления сохранить свободу.

Это была последняя моя девушка в той, прошлой жизни. В той жизни, в которой были дядя Федор, Анатолий и Савка. Закончилась она как-то вдруг. И — у всех сразу.

В тот вечер мы не играли. Дарья Александровна, неунывающая и нестареющая «Япона мать», умирала в больнице от рака мозга. Я никогда не видел дядю Федора таким — тихим, растерянным, с невидящими, как будто повернутыми вовнутрь глазами.

У нее был выбор: сделать операцию и лишиться части мозга или умереть. Она выбрала второе. В мучениях, но — в сознании, сохранив целостность своего я. Истинно самурайский шаг!

Это было начало конца, хотя мы об этом не догадывались. Прошло время, и мы снова стали собираться. К дяде Федору постепенно вернулась его веселость.

— Как дела на матримониальном фронте? — подмигивая, спрашивал он.

Я не заставил долго ждать. На моей свадьбе были все трое: Анатоль — с костылем и фингалом, Савка — с женой и младенцем, дядя Федор — с букетом собственноручно склеенных из цветной бумаги цветов. Но очень скоро никого из них не осталось.

Сначала исчез Савка. Уехал в Америку — на этот раз навсегда. Некоторое время мы собирались втроем. А потом позвонила Ленчик, третья жена Анатоля, и долго не могла начать говорить.

— Вечером после работы... принял душ... выпил кофе, — делая длинные паузы, стараясь вновь не заплакать, рассказывала она. Паузы заполнялись доносившимся из другой комнаты младенческим лепетом — их с Анатодем дочке недавно исполнился год. — Выпил кофе... и... упал...

Анатоль всегда производил впечатление человека полнокровного. Эти выпученные, как у Петра Первого, глаза... Иногда казалось, что вот-вот он лопнет от избытка внутренней энергии. Конечно, надо было побережться. Но побережться — это не про него. И вот — кровоизлияние в мозг. В этот первосортный, столько всего хранивший, столько всего выдумавший мозг! Огромная опухоль — неоперабельная, как и у Дарьи Александровны. Умер Анатоль через три дня, так и не придя в сознание.

Ему только что исполнилось тридцать семь. Стихов он не писал (а может, делал вид, что не писал) и надо мной, пишущим, всегда трунил, но ушел именно в этом — роковом для поэтов возрасте.

Его похороны были назначены на воскресенье, но моих воскресных планов не нарушили. Мы встретились с Анатодем в том месте и в то время, о которых договаривались неделей раньше. В тот хо-

лодный и голый ноябрьский день мы с ним должны были оказаться там же — на Волковом кладбище. Ежегодно мы собирались за мутной Волковкой на могиле нашего однокурсника — такого же жизнерадостного здоровяка, внезапно и непонятно по какой причине умершего в девятнадцать лет. Те наши ежегодные ноябрьские встречи давно превратились в традицию, в которой удельный вес скорби постепенно, из года в год уменьшался, уступая все больше места неистребимой Анатолевой jovиальности. Вокруг был лес крестов и оградок, под нашими ногами были закопаны кости человека, которого мы когда-то знали, но смерть по-прежнему оставалась для нас чем-то умозрительным. Поминание усопшего однокашника со временем превратилось в столь же веселое занятие, как наши карточные бдения или походы по девочкам. И прощаясь с Анатодем до воскресенья, я и представить себе не мог, что в назначенный день вместо того, чтобы стоять рядом, держа в озябшей руке пластиковый стаканчик с водкой, он будет лежать в лакированном ящике, в кружевах и гвоздиках — на себя не похожий и холода уже не чувствующий.

Бабушка, конечно, тоже умерла. И пропала, исчезла вместе со своими железными шарами милая улыбчивая девушка, с которой мы успели стать просто друзьями.

Согласно предначертаниям дяди Федора, большая бабушкина квартира в центре города превращена в три маленькие на окраинах — для его подрастающих дочерей. Наша многолетняя обитель с бронзовым звонком и табличкой «Прошу крутить», с заветной Японской комнатой продана под «элитный мини-отель» — теперь там останавливаются состоятельные гости северной столицы. Сам король Лир живет на Мойке, с семейством. Но — недолго. Внезапно он исчезает, до него никак не дозвониться, не дописаться.

Как потом выяснилось, в один прекрасный день дядя Федор вдруг напился, вдребезги разругался с родней, сорвался с места и уехал на Псковщину, в лесную глушь, в почти вымершую деревню, где оставалась чуть покосившаяся, но еще крепкая дедова дача. Он давно поговаривал о «дауншифтинге», и вот, наконец, решился. Пережив несколько тяжелых зим, регулярные вторжения кабанов и медведей, этот до последней клеточки городской человек мало-помалу обжился, окрестянился, обзавелся хозяйством — засадил картошкой и чесноком огород, научился солить грибы и квасить капусту. Единственной ни-

точкой, связывающей его с прежней жизнью, остается работа — благо программированием можно заниматься и на печи.

Изредка, примерно раз в полгода, он приезжает в город — навестить дочерей. Недавно мы встретились, посидели, повспоминали. Дядя Федор как будто все тот же — все так же похож в своих маленьких очечках на Ларса фон Триера, разве что в бородку вплелось несколько седых волос. Но что-то в нем изменилось, что-то прежнее по капле ушло из него, как вода из прохудившегося ведра. От города он отвык, да и город от него — тоже.

Итак, дядя Федор — в лесу, Савка — в Америке, Анатолий — на кладбище, я — женат.

«Женился — как умер», — все шутил один наш общий знакомый.

Иногда мне кажется, что это я во всем виноват. Моя семейная жизнь и наше бонвиванское братство были бы несовместимы. А что если небесные покровители матримониальных уз решили раз и навсегда устранить потенциальные угрозы моему семейному счастью — двоих раскидали в пространстве, а третьего, самого опасного, упрятали под землю?

Иных уж нет, а те далече...

Вчера из Америки звонил Савка. Мы проговорили часа два. О книгах, о политике, о житье-бытье. Но как водится, все больше предавались воспоминаниям. Это не просто воспоминания. Это воспоминания о воспоминаниях. Мы мысленно путешествуем по городским улицам, перебираем бесчисленные, уже давно не существующие или сменившие вывески укромные места, где за рюмкой водки или бокалом пива мы после его возвращения из Америки вспоминали о самом главном — о детстве. Нет, разумеется, настоящее и даже будущее мы тоже тогда обсуждали, да еще как — взахлеб, еле сдерживаясь, чтобы не перебивать друг друга. Нам всегда было о чем поговорить. Но то и дело мы съезжали на неизменное «А помнишь...»

«А помнишь, как я остановил электричку?» — уже нетвердым голосом говорит мне Савка во втором часу ночи в уютнейшем подвале под вывеской «Шуры-муры».

На столиках здесь пошловатые красные скатерти, но водку подают в ледяном запотевшем графинчике, и пьем мы ее из толстых граненых рюмок — как в каком-нибудь трактире чичиковских времен.

«Конечно, помню!» — отвечаю.

Два малолетних паршивца развлекались, подкладывая под колеса поездов щебень. Нам нравилось смотреть, как куски гранита превращаются в пыль. А потом, возле станции Савка положил на рельсы какую-то железную бандуру. Деталь от трактора? Я, всегда осторожничавший, был против, а он ее все-таки положил — здоровенную какую-то загогулину. Он вообще имел склонность к злостному хулиганству — несмотря на то, что был из очень хорошей семьи. Обильно облегчившаяся пестрой пассажирской массой и уже отъезжавшая от платформы, мордастая электричка вдруг с душераздирающим визгом затормозила, из кабины выскочил красный от ярости машинист. Мы прыгнули на велики и почесали во все лопатки.

«А помнишь...» — начинаю я в свой черед.

В подвальчике «Шуры-муры» кроме нас уже никого...

Несмотря на гремучую смесь кровей, оба мы — типичные русские. Мы занимаемся тем же, чем занимались такие же типичные русские и за сто, и за двести лет до нас: мы разговариваем. В разговорах наших принимают участие всевозможные напитки (предпочтение отдается перцовке или хреновухе), хрустящие грузди, разнообразные огурчики-помидорчики и прочие соленья, до которых и я, и Савка большие охотники. Ну и, разумеется, чай — куда русскому человеку без чая! Все это важно не само по себе, а как приложение к много-часовому разговору, для которого всегда есть пища — прочитанные романы, просмотренные фильмы, новые девушки, политические новости, и обязательно — воспоминания о детстве, вернее, о его летней фазе, имевшей прочную топографическую привязку — незабвенную железнодорожную станцию, от которой в противоположные стороны света бежали двумя рядами пахнущие креозотом шпалы.

— Для нашего брата лишнего человека одно спасение в разговорах, — Савка любит повторять эту фразу из фильма.

Мы тоже в известном смысле люди лишние — без нас страна уж точно проживет. А вот мы без нее не можем. Мы — персонажи, ею выдуманные.

И все-таки, он уехал...

Там, в Америке он снова ищет себя — что-то пишет, куда-то ездит, строит планы. Но я-то знаю, чем на самом деле он всегда хотел заниматься — в сущности, тем же, чем и я: просто сидеть в тихом уютном

месте за чашкой чая и читать хорошую книгу. И если после смерти он удостоится милости не попасть в ад, то для него выгородят уголок сада с беседкой, поставят дом с верандой, увитой хмелем или диким виноградом, и непременно с хорошей библиотекой. Впрочем, и от туда его обязательно потянет на подвиги — в полусотне километров потребуются выстроить большой город с широкой рекой, прямыми улицами и обилием питейных заведений. И чтобы к этому городу была проложена пахнувшая креозотом железная дорога — сидеть в электричке и просто смотреть в окно на мимотекущий ингерманландский пейзаж — это ведь тоже великое наслаждение!

Почему же он все-таки уехал?

Поначалу дела в Петербурге шли преотлично — он женился на высокой черноглазой девушке из Татарстана и вскоре на свет появился такой же черноглазый карапуз. Мой друг преобразился, неожиданно обнаружив в себе отцовский инстинкт. Он увлеченно возился со своим Андреем Саввичем — купал, кормил, водил гулять. Все шло хорошо, молодая семья зажила в доставшейся от Савкиной бабушки свежееотремонтированной двушке окнами на лесопарк. Вскоре был приобретен недорогой, но симпатичный семейный автомобиль. Машина, правда, пока что стояла под окнами — у Савки не было российского водительского удостоверения, но ведь это, как говорится, дело времени.

Савка — натура мятущаяся. По профессии программист, он всегда тяготел ко всякого рода гуманитарщине. Душа рвалась на простор, смутно что-то прозревала, просила не офиса, а чего-то другого. Он, как говорится, искал себя, посещал лекции по искусствоведению, сценарные курсы, переводил современную американскую прозу, пробовал свои силы даже на театральных подмостках. Относительно неплохо кормившее его программирование он вдруг бросил, твердо решив стать свободным художником, а для начала перебиваться частным извозом. Заокеанские водительские документы надо было менять на наши, российские. Отправляясь сдавать на права, мой друг не особенно беспокоился: в Америке он не вылезал из-за руля, еще учась в колледже, успел поработать таксистом, потом несколько лет совмещал обязанности водителя и охранника при сумасшедшем доме. Единственную сложность могла представлять малознакомая для американца механическая коробка передач, но немного потренировавшись на моей ржавой «копейке», Савка уверенно двинулся

на экзамен. Теорию и «площадку» сдал без проблем. А вот на третьем этапе был с треском завален. К этому недоразумению он отнесся с юмором и пошел на второй заход. Но и на этот раз сдать «улицу» не удалось. Не увенчалась успехом и следующая попытка. Савка призадумался. Я осторожно посоветовал пойти другим путем, на что он отреагировал с возмущением. Взятка? Никогда и никому!

За честность и принципиальность положено платить, и он платил — временем, нервами и бесчисленными пошлинами в казну. Его безбожно валили на мелочах. Он приходил снова. И уходил ни с чем. Его уже знали в лицо. И валили, валили. Видимо, тоже из принципа.

Нельзя сказать, что он впал в уныние. Но что-то с ним происходило, что-то менялось в нем и вокруг него — как будто само пространство становилось ему враждебным, как будто воздух был кем-то отравлен. Постепенно он утрачивал былую беззаботность. Однажды за картами Савка изрядно перебрал, произошло что-то вроде ссоры — обычно миролюбивый и покладистый, он повздорил со всеми и с каждым в отдельности. Мне было сказано нечто странное:

— Я всегда думал, что на твоём доме будет висеть табличка... А на табличке будет твоя фамилия. Но ничего этого не будет. Не будет там никакой таблички, понимаешь? Потому что ты не хочешь замечать, что творится вокруг.

— Послушай, друг мой, — начал было я, но Савка прервал меня, произнеся нечто, надолго повергшее меня в крайнюю растерянность, сменившуюся глубоким унынием.

— Я не уверен в том, что мы с тобой — друзья.

В подобные минуты я всегда задаюсь вопросом: кто ты сейчас, человеке? Какова природа твоей искренности? Кто говорит твоим пьяным голосом — сокровенное, сердцевинное «я» или — подменное, искаженное, иное? Что за вещество *spiritus vini* — сыворотка правды, проявитель внутренней, подлинной личности с ее настоящими мыслями или яд, искривляющий сознание?

Несколько дней спустя мы бурно мирились. Дальше была моя свадьба. Но тень меланхолии и тревоги не сходила с его лица.

— К дяде Савве пришел скорбец, — так прокомментировал это Анатолий.

Савку все меньше устраивало положение дел в России (к тому времени это слово уже лишилось своего старорежимного шарма). Политика занимала в наших разговорах все больше места, что меня

несколько огорчало. И тут вдруг карта легла такая, что на душе у раннего Савки стало совсем паршиво.

Поздно вечером он возвращался откуда-то навеселе, шел по Невскому к метро. Недалеко от Гостиного двора кто-то тронул его за плечо. Он обернулся, и пронизанный искусственным светом проспект с его глянцевым мокрым асфальтом вдруг перевернулся и исчез. Очнувшись, Савка обнаружил себя лежащим на тротуаре. Со второй попытки он встал на ноги, поднял голову и вздрогнул: из зеркальной витрины на него глядел некто с опухшим, черным от запекшейся крови лицом. Среди потерь числились бумажник, телефон, подаренные женой наручные часы и — только что запломбированный зуб. До дома добирался пешком — невозможная головокружение и тошноту, часа три шел по ночному городу, то и дело прислоняясь к стенам домов и обнимаясь с фонарными столбами.

Едва оправившись, Савка продолжил штурмовать цитадель корпорации. При всей своей кажущейся интеллигентской бескостности он был дьявольски упорен там, где дело касалось принципа. Борьба за водительские права стала личной войной Савки против всего того, что не соответствовало его представлениям о правильной России. Он не сдавался. И вот, наконец, экзамен был сдан. Это была победа. Савка одолел многопогонную гидру, не заплатив мздоимцам ни рубля. Однако сесть за руль автомобиля ему так и не довелось. В тот самый день, когда победитель вернулся домой с водительским удостоверением, машины под окнами не оказалось. Обращения в милицию, как и следовало ожидать, ничего не дали. «Ищем», — неизменно отвечали там.

Он долго колебался, но стареющие родители настойчиво звали вернуться, жена тоже была за отъезд.

— Ты будешь тосковать, Чарнота, — сказал коллеге по Гражданской войне булгаковский генерал Хлудов, собравшийся вернуться в Россию.

Примерно то же самое говорю я Савке. Но он и без меня прекрасно это знает. «Напрасные слова, виньетка ложной сути», — как бы сказал дядя Федор. Савка будет тосковать, да еще как! Только это уже в расчет не принимается.

Он решил. Он готов.

— Помните, Джеймс! Дружба народов России и Америки — это сейчас самый главный вопрос, который стоит перед человечеством! — ерничаю я, прощаясь.

И вот он снова — там. А я по-прежнему — здесь. Мне, квасному патриоту, уезжать некуда, да и незачем. Меня вполне устраивает неразделенная любовь к родине. К неразделенной любви я приучен с отрочества.

Иногда он звонит мне, почти всегда навеселе. Мы снова перебираем все мелочи нашего прошлого. Иногда разговор напоминает заезженную пластинку: выпив, он начинает повторяться, но мне это даже нравится. Я ведь и сам в известном смысле — заезженная пластинка.

— А помнишь, как мы ездили в лес за речку? И прятали велики.

Да, перед тем, как перейти нашу тихую лесную речку по бревенчатому мостику и отправиться в царство подосиновиков и моховиков, мы прятали велосипеды в сырое ущелье из огромных мшистых валунов, окруженных ольховыми джунглями. Это был ритуал. Велосипеды сковывались цепью, и я все время грибной охоты проверял в кармане ключ от замка — не дай бог потерять.

Те времена были щедры на приключения. Однажды мы заблудились, пробродили весь день и вышли, наконец, на берег речки, за которой виднелись вечеряющие поля. На ту сторону перебирались по стволу поваленной осины. Грибы к тому времени превратились в труху. Трухой готовы были рассыпаться и наши тела — ноги не слушались, головы гудели от усталости. Из последних сил, идя по грудь в траве, мы наконец добрались до велосипедов, мирно лежавших между валунами. Я полез в карман за ключом. Ключа не было...

Воспоминания детства сливаются с другими, более поздними, одно наслаивается на другое, и все вместе превращается в винегрет — взрослые дети, маленькие взрослые, — да, черт возьми, мы, наверное, так и не повзрослели, а время успело убежать вперед. И кто мы теперь? Где мы?

— А знаешь, что я вспоминаю чаще всего?

Дай угадаю. Как мы копали землянку в лесу? Как ты придумал искусственный язык, чтобы нас с тобой никто не понимал? Как мы ходили в поселковую баню — не столько, чтобы помыться, сколько ради того, чтобы через дверную щель понаблюдать за происходящим в женском отделении?

— Нет, нет. Чаще всего мне вспоминается тот рассвет над полями, после ночного костра... Помнишь?

Уже потом, уже после детства, после Савкиного возвращения в Россию у нас появилась эта традиция. Мы выбирали погожий, не предве-

щавший дождя день и уходили из поселка за железнодорожную насыпь, к сонному ручью, заползавшему под старый бетонный мост. Уходили туда перед сумерками — чтобы встретить ночь во всеоружии. Бутылку клали в ручей — как в холодильник, таскали из зарослей топливо, устраивали свое ночное становище. Хорошо кутаться в старую шинель, смотреть на огонь и говорить со старым другом. А прикуривать приятнее всего от тихо потрескивающей, припудренной пеплом голубоватой головни, когда к запаху сожженного дерева примешивается тонкий аромат табака, и чтобы звезды над головой — как тихие угольки. Но вот они гаснут, и там, со стороны пустого шоссе, по которому когда-то шли на Ленинград немецкие танки, над золотым морем ржи вдруг начинает разливаться золотое сияние. Я тоже запомнил то утро. Это был уже не тот возраст, когда каждый встреченный рассвет кажется началом новой прекрасной жизни, а все-таки...

Савка говорит со мной, время от времени на него кричит сонная жена — у них там вечная ночь, все хотят спать, а ему хочется говорить, он пьян и без конца повторяет одно и то же, все из того же фильма про лишнего человека:

— Ты мой единственный и лучший друг!

И в эту минуту мне хочется верить, что пьяная искренность — это самая правильная, самая искренняя искренность из всех возможных.

— Знаешь, у меня такое ощущение, что тебя нет, что ты существуешь только в моем ухе! — вдруг говорит Савка. — Я нахожусь в Пенсильвании, а ты находишься в моем ухе! Пожалуйста, не исчезай!

Как знать, быть может, мое истинное существование начинается и заканчивается только тогда, когда в Савкином ухе возникает мой голос.

Но наш разговор обрывается — что-то там со связью, и вот — меня как будто не существует.

Видимо, уже на том свете я шатаюсь по этому прекрасному миражу. Здания-призраки, здания-тени окружают меня. Вот в этом старинном, с полукруглым охряным фасадом на углу Невского и Мойки я когда-то жил. Казалось бы, он стоит на прежнем месте, но на самом деле его тоже нет. Только оболочка осталась, только слепок. Прежнюю жизнь вместе с длинными коридорами и бесчисленными комнатами, хранившими остатки коммунального быта, вместе с эхом голосов и шагов вычистили, выскребли, как тыкву к Хэллоину, — мертвая

загримированная голова подсвечивается изнутри, делает вид, что живет, таращится на проспект своими стеклопакетами. Там теперь тоже отель — и весьма дорогой.

Знакомый грустный троллейбус (у троллейбусов всегда немного грустный вид), покачивая сверчковыми усами, открывает передо мной свой стеклянный ларчик. Как и положено быть во сне, внутри никого нет — если не считать дремлющей кондукторши. Передо мной быстро разворачивают свернутый в рулон проспект. Мойка, Дом книги, канал Грибоедова. Казанский собор широко раскрывает многоколонные объятия, Кутузов с Барклаем стоят в простынях, собираются играть в городки — у каждого в руке бита, Кутузов прицелился... Фонтанка. Через минуту я уже схожу на вокзальной площади, из которой штыком в ватное небо упирается каменная стела — циничный Анатолий называл это «мечтой импотента».

Перехожу Невский. Миную метро. Вот эта улица, вот этот дом.

Не знаю, что там сейчас внутри, — знаю, чего там нет. Нет бронзового Мефистофеля, Японской комнаты, старой радиолы.

— How do you do, mister Brown!

И нас там — нет.

Вот эти окна — почти целый этаж. Здесь мы делали вид, что играли в карты, а на самом деле просто трепались. Теперь тут отель, да. Будь я богат, снял бы номер, поглядел бы, во что тут все превратилось. Но Бог миловал.

Я подхожу к этому дому, по привычке бормоча: «Дама бубён варила бульон...»

Не слишком ли часто поминали мы эту чертову бабу? Не в ней ли все дело? Пушкинского Германна погубила дама пик. Не по милости ли ее бубновой сестры мы разлетелись, рассыпались, как карты из неправильно перетасованной колоды? Тут бы впору воскликнуть: тайный ход карт нарушен! Но я молча стою и смотрю — как какой-нибудь турист или любитель старой архитектуры. Торчу столбом, мешая прохожим. Тысяча извинений, дамы и господа, тысяча извинений...

